

# Рецензии

## *Пособники. Исследования и материалы по истории отечественного коллаборационизма<sup>1</sup>*

Под ред. ДМИТРИЯ ЖУКОВА  
и ИВАНА КОВТУНА

М.: Пятый Рим, 2020. – 464 с. – 1500 экз.



В сборнике, издание которого составители приурочили к 75-летию окончания Второй мировой войны, с самых разных сторон рассматривается тема, которая в отечественном историческом дискурсе остается дискуссионной на протяжении уже многих десятилетий. Феномен сотрудничества с врагом интересен тем, что по прошествии времени накал ведущихся вокруг него споров не только не снижается, но, напротив, делается все больше. Разумеется, в значительной мере спокойному и обстоятельному обсуждению сюжета мешает та нагрузка, которая априорно обременяет понятие «коллаборационизм»: как

отмечают создатели книги на первых же ее страницах, «после поражения стран Оси во Второй мировой войне термин приобрел негативные коннотации» (с. 6).

Сборник состоит из двух частей, в первой из которых («Исследования») представлены девять статей российских ученых-историков, занимающихся коллаборационизмом 1939–1945 годов, а во второй («Материалы») публикуются неизвестные ранее документы – переписка, мемуары, свидетельства людей, сотрудничавших с нацистами. На исследовательские статьи приходится примерно две трети внушительного объема всей публикации. В редакционном введении подчеркивается, что создатели книги не поддерживают стремление многих российских историков свести русский коллаборационизм только к фигуре генерала Андрея Власова и возглавляемому им движению и поэтому хотели бы взглянуть на изучаемое явление шире и обстоятельнее. Что же касается введения в научный оборот новых архивных источников, то его предназначение, по мнению составителей, заключается в «расширении документальной базы по вопросам сотрудничества с нацистами различных кругов российской эмиграции как до, так и во время Второй мировой войны» (с. 12).

Как представляется, авторское желание осветить коллаборационистскую деятельность с самых разных и несхожих сторон удалось реализовать в полной мере. Вполне логичным образом вступительным текстом оказывается статья Федора Синицина («Коллаборационизм: историко-правовой анализ терминологии»), посвященная концептуальному уточнению самого базового

**1** Рецензия подготовлена в рамках программы «Иммануил Кант» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Германской службы академических обменов (DAAD).

понятия. Кроме того, здесь же предпринимается его правовой анализ, необходимый, с точки зрения автора, из-за тех юридических последствий, которые до сих пор влечет за собой клеймо «коллорациониста». Фундаментальную проблему, препятствующую объективному рассмотрению исторических реалий, автор видит в том, что термин «коллорационизм», несмотря на широкое его использование раньше и теперь, не содержался в советских законах и по-прежнему отсутствует в российском законодательстве (с. 18). Понятно, что это способствует неоправданно широкой дискреции в его применении. Кроме того, подобное положение вещей позволяет пренебрегать различиями в мотивах, толкавших советских граждан к сотрудничеству с врагом: как отмечает автор, психологические мотивы – страх перед жестокостью оккупантов и стремление защитить себя и своих близких – едва ли можно приравнивать к низменным мотивам (тщеславие, алчность или месть), а также к политическим мотивам в виде неприятия советского строя, включая его репрессивные практики (с. 27–28). Трудно спорить с тем, что для объективного исторического исследования такая нюансировка очень важна.

В статье Дмитрия Жукова и Ивана Ковтуна («“Викингс всея Руси”. Генезис идеологии и партийное строительство в вооруженных формированиях и гражданских структурах Б. Каминского») анализируются организационные и идейные установки одной из наиболее одиозных коллорационистских организаций – «Национал-социалистической партии России» (НСПР). Несмотря на то, что идейные установки партии Бронислава Каминского характеризуются в статье как «причудливый гибрид, материалом для которого послужили клише из пропагандистских листовок вермахта и весьма туманные представления о том, как следует формировать идеологию и строить политическую организацию» (с. 47), в них

имелись и устойчивые мотивы, главнейшим из которых был антисемитизм. Интересны также приводимые в статье параллели между программными положениями НСПР и идеями, пропагандируемыми Народно-трудовым союзом российских солидаристов (НТС) – в частности, Романом Редлихом.

Наряду с организациями и объединениями, сотрудничавшими с оккупантами, в сборнике рассматриваются и судьбы отдельных советских коллорационистов. В частности, опираясь на материалы уголовного дела, хранящегося в архиве Управления ФСБ по Брянской области, Борис Ковалев в статье «“Царственная вдовица” русского коллорационизма. По материалам уголовного дела А.В. Колокольцевой-Воскобойник» исследует жизненный путь супруги первого руководителя Локотского самоуправления Константина Воскобойникова, убитого партизанами в январе 1942 года. (Кстати, на посту бургомистра его сменил Бронислав Каминский, упоминавшийся выше.) Руководимое этим человеком в период оккупации Брянщины муниципальное образование, сочетавшее самоуправленческие и военные функции, считалось немцами чуть ли не образцовой формой сотрудничества местных жителей с оккупационными властями. Свои признания, сделанные в ходе допросов, Анна Колокольцева завершает следующими словами:

«Ведь когда перед собой и перед людьми ты оправдывала свое сотрудничество с немцами, сотрудничество в момент войны, то единственным оправданием для меня служило то, что так нужно для народа. Когда же это оправдание отпало, то оставался один голый факт: ты – изменник Родины. Это трудно сказать, еще труднее написать, а прожить – еще страшнее» (с. 112).

Обращает на себя внимание тот факт, что героиня этой статьи избежала смертной казни: получив в 1945 году десять лет лагерей, она дожила до глубокой старости.

Между тем автор материала, излагая обширные цитаты из уголовного дела, которые, в принципе, каждому позволяют вынести собственные оценки, все-таки завершает свой материал чем-то вроде подсказки – очевидно, для тех читателей, которые сами не в состоянии разобраться, что к чему:

«Не оправдывая реалий жизни советского сталинского общества, необходимо признать, что война с нацистской Германией была действительно Отечественной. И все те, кто был на стороне Гитлера, не могут называться честными людьми» (там же).

Другой столь же интересный биографический очерк тоже построен на архивных материалах, предоставленных спецслужбой – только на этот раз не российской, а украинской («“Мне, как еврею, нечего было бороться за власовский манифест”. Судьба особиста, или История начальника разведки РОНА “майора Костенко”»). Опираясь на помощь Службы безопасности Украины, Сергей Дробязко описывает биографию Бориса Краснощекова – начальника разведки Русской освободительной народной армии (она же 29-я добровольческая пехотная дивизия СС «РОНА»). Скрупулезно изученное историком уголовное дело – «к сожалению, никакими другими материалами, способными пролить свет на эти события, мы не располагаем» (с. 123) – позволяет составить весьма колоритный портрет. Любопытно, что Краснощеков родился евреем, но долгая жизнь на Украине позволяла ему выдавать себя за украинца. Автор подчеркивает, что для сотрудничавших с нацистами граждан СССР это далеко не единичный случай:

«Подобные превращения в “украинцев” и “казаков” были достаточно широко распространены среди советских военнопленных, пытавшихся любым способом выбраться из лагерей, где весной 1942 года им угрожала почти верная смерть от голода, болезней и жестокого обращения» (с. 127).

Менее типично то, что раздвоение личности сопровождало Краснощекова и дальше: автор приводит свидетельства того, что этот бывший офицер НКВД, занявший видный пост в штабе РОНА, сотрудничал не только с немцами, но и с партизанами, передавая последним «данные о замыслах противника, численном составе и вооружении германских и коллаборационистских частей, их передвижении» (с. 131). Все эти усилия, однако, позже не были оценены советскими следователями: Бориса Краснощекова приговорили к высшей мере наказания, а в 1997 году ему отказали в посмертной реабилитации. Автор статьи считает подобный исход вполне характерным для советского коллаборациониста:

«Скорее всего Краснощеков никогда не имел намерений изменить тому строю, которому начинал служить в СССР, однако желание выжить и выбор для этого наиболее удобного и выгодного пути привели его к неразрешимому конфликту с жесткой и беспощадной системой» (с. 138).

С одной стороны, действительно, здесь коллаборация удалась не в полной мере; но, с другой стороны, закономерен вопрос: а может ли такая личностная стратегия оказаться беспроигрышной?

Статья польского исследователя Хуберта Куберского («Восточные добровольцы вермахта, войск СС и полиции во время подавления Варшавского восстания (август–октябрь 1944 года)») написана в рамках специального проекта, поддержанного Национальным центром науки Республики Польша. Отталкиваясь от долго бытовавшего в польской историографии мнения о том, что особую жестокость в борьбе с повстанцами проявили именно украинцы, автор пытается установить, можно ли считать такую позицию обоснованной. С его точки зрения, в данном вопросе царит путаница, изначально порожденная тем, что «немногие жители Варшавы были способны увидеть

разницу между мундирами подразделений полиции, СС и вермахта; только образованные люди могли различать русский и украинский языки» (с. 141). В итоге оформился стереотип, в рамках которого сражавшимся в рядах нацистов украинским подразделениям приписывались преступления, на самом деле творимые русскими коллаборационистами из РОНА. Польская эмигрантская пресса того времени, предвзятая в отношении украинских националистов, охотно распространяла эти мифы: ее идейные установки предполагали, что именно украинцы «должны были составлять большинство из тех, кто стрелял с крыш по полякам» (с. 145). Однако анализ архивных источников позволяет, по убеждению польского историка, пересмотреть прежние оценки; доступные на сегодняшний день материалы свидетельствуют, что наиболее активным формированием, использованным нацистами для уничтожения варшавских повстанцев, стала уже упоминавшаяся 29-я добровольческая пехотная дивизия СС «РОНА», которой руководил все тот же Бронислав Каминский, ставший к тому времени генерал-майором СС. «Это формирование состояло в основном из русских, хотя в его рядах также находились некоторые белорусы, украинцы, казаки и, возможно, даже поляки из восточных районов» (с. 154). Действительно, рука об руку с русскими коллаборационистами в Варшаве воевали представители других этнических групп, проживавших в СССР, но именно первые в особой мере «отметились грабежами гражданского населения и насилием над женщинами» (с. 155).

Продолжая тему коллаборационистского сора́тничества, Андрей Самцевич в своей статье рассказывает о службе русских и украинских эмигрантов в вооруженных формированиях одного из балканских сателлитов «третьего рейха» – Независимого государства Хорватии («“За Поглавника и Хорватию”. Русские и украинцы в Усташ-

ской войнице»). Материалом для авторского осмысления служат десять эмигрантских биографий, показывающих, каким образом выходцы из России попадали в ряды хорватских националистов и какие роли они там играли. Среди прочих персонажами этих биографических очерков стали Дмитрий Пио-Ульский, погибший в 1944 году, а также Володамир Войтановский, расстрелянный вместе с родителями по решению югославского суда летом 1945-го.

Две статьи, включенные в сборник, посвящены коллаборационистской прессе. Алексей Белков концентрирует свое внимание на пропаганде, которую вели на оккупированных территориях СССР бывшие советские военнослужащие, оказавшиеся на стороне противника и прошедшие подготовку на специальных курсах («Ложь вместо лжи. К истории печатной периодики “Русской освободительной армии”»). Объектами его исследования стали такие власовские газеты, как «Боевой путь», «Доброволец» и «Боец РОА». Все эти издания были призваны укрепить перебежчиков в том, что сделанный ими выбор был правильным и достойным, они разжигали ненависть к большевизму и призывали советских граждан вступать в РОА. В материалах, адресованных солдатам противника, использовался «традиционный набор инструментов нацистской пропаганды: антисемитизм, апелляция к инстинкту самосохранения и создание атмосферы недоверия к собственному командованию» (с. 243). Кроме того, на страницах коллаборационистских изданий публиковались тексты о бытовых и боевых буднях власовцев, которые, как и следовало ожидать, неизменно героизировались. В некоторых газетах до 30% объема занимали карикатуры – в основном на Сталина. Как представляется автору, по своей стилистике и используемым приемам печать, издаваемая пропагандистами РОА, выглядела как искаженное отражение изданий Красной армии – хотя

идейная «начинка» была, несомненно, абсолютно другой. Богатый иллюстративный материал на ту же тему предлагает и статья Ивана Грибкова, представляющая собой библиографическое описание почти сотни журналов, издаваемых советскими коллаборационистами в оккупации («Журнальная измена. Русские коллаборационистские журналы на оккупированной территории»). Этот материал в полной мере позволяет представить масштаб той гигантской работы, которую предпринимали подконтрольные немцам печатные издания.

Написанная Сергеем Митрофановым статья «Цена измены: по материалам рассекреченных надзорных производств прокуратуры Томской области по делам о государственных преступлениях», завершающая первый раздел книги, основана на новейших документах, лишившихся грифа секретности только в 2018 году. Разбирая конкретные жизни и судьбы, автор пытается выявить мотивы, толкавшие советских людей к взаимодействию с оккупантами. Здесь же обсуждаются и дефекты системы, преследовавшей коллаборационистов. Так, авторское недоумение вызывает обращение НКВД с женщинами, главное преступление которых состояло в сожительстве с немецкими офицерами: в большинстве своем они приговаривались к расстрелу по пресловутой 58-й статье УК РСФСР и аналогичным статьям, имевшимся в уголовных кодексах других советских республик. Завершая свой текст, автор намечает задачи, которые в будущем придется решать историкам, занимающимся обозначенной в сборнике темой:

«Предстоит верно оценить масштаб коллаборационизма, понять мотивы людей, совершавших те или иные деяния, составить их социальный портрет, охарактеризовать вклад работников госбезопасности в дело разоблачения и наказания изменников. При этом важно помнить: советских патриотов, боровшихся с противником, было

куда больше, чем предателей. Поэтому выявление новых аспектов коллаборационизма – не самоцель, а желание видеть картину войны более полной и максимально объективной» (с. 304).

Сегодня, когда на историках лежит особая ответственность за интерпретацию прошлого, этот вывод кажется особенно важным.

Во второй раздел сборника вошли документы и материалы из российских и зарубежных архивов, имеющие отношение к довоенному и военному сотрудничеству между немецкими нацистами и русскими эмигрантами. Все они прошли тщательную научную обработку: каждый сопровождается вступительной статьей и научным комментарием, а также справочным аппаратом, восстанавливающим именной состав и биографии участников описываемых событий. Открывает эту познавательную коллекцию переписка генерал-майора Василия Бискупского и главного нацистского идеолога Альфреда Розенберга, хранящаяся в Мюнхенском институте современной истории и подготовленная к печати Игорем Петровым. Затем следуют мемуары начальника одного из отделов Русского общевойскового союза Дмитрия Ходнева из Бахметьевского архива Колумбийского университета в Нью-Йорке, которые отредактировал и прокомментировал Олег Бэйда. Потом идут воспоминания офицеров «Русской национальной армии», оказавшихся в мае 1945 года в княжестве Лихтенштейн; их обрабатывали Дмитрий Жуков и Иван Ковтун. Наконец, завершает подборку письмо, которое в 1961 году бывший офицер вермахта, переводчик и эмигрант Вильфрид Штрик-Штрикфельдт, написал бывшему члену Комитета освобождения народов России и члену НТС Михаилу Томашевскому. Этот документ, находящийся в архиве Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына, подготовил к печати Андрей Мартынов. Раскрывать

здесь содержание всех этих исторических источников нет смысла: заинтересованный и увлеченный читатель просто не сможет обойти их вниманием.

Людмила Климович, старший научный сотрудник Ульяновского государственного технического университета

### **Сбои и поломки. Этнографическое исследование труда фабричных рабочих**

Ольга Пинчук

М.: Фонд поддержки социальных исследований «Хамовники»; Common Place, 2021. – 208 с.



Концептуальный жест, организующий рецензируемую книгу, прост и безотказно эффективен. Бросая вызов поверхностным академическим суждениям и распространенным бытовым предрассудкам, Ольга Пинчук предлагает начать «разговор об индустриальном труде и возвращении фигуры рабочего не только в экспертные дискуссии, но и в повседневность городских жителей» (с. 24). Силу и легитимность этому заявлению о намерениях придает тот факт, что сама социальная исследовательница

с августа 2016-го по август 2017-го работала на подмосковной конфетной фабрике и в книге фиксируется и анализируется личный опыт включенного наблюдения за заводской жизнью.

Очерчивая в первой главе структуру и основные особенности современного фабричного труда, Пинчук обращается к целому ряду тем и сюжетов (начало работы на производстве, инструкции и их несоблюдение, устройство цеха, основные профессии и круг их обязанностей, типы занятости, зарплаты, горизонтальные и вертикальные взаимодействия персонала и так далее), которые постепенно складываются в выразительную и местами неожиданную картину функционирования постсоветского капитализма. Конфетная фабрика, на которой работала исследовательница, возникла уже после распада СССР и принадлежит «транснациональной корпорации по производству сладостей» (с. 43). Тем не менее воспоминания о мертвых советских традициях все еще тяготеют над умами живых: работники болезненно переживают замену старого руководства «патерналистского типа», управлявшего предприятием через неформальные взаимоотношения, на новый менеджмент «неолиберального толка» (с. 47), занятый разработкой абстрактных правил и нереальных требований. Одним из результатов внедрения этих практик управления стал тотальный коммуникативный разрыв между менеджерами и рабочими, лишь изредка преодолеваемый письмами, которые удачно сочиняла Пинчук.

Между тем рабочим приходилось постоянно обращаться к начальству с просьбами о помощи, поскольку – и здесь мы приближаемся к смысловому ядру книги – цеховое оборудование на этом заводе предельно износилось. Причина его износа проста – «оно много лет эксплуатировалось на другой фабрике транснационального концерна» (с. 46) и попало в Россию только после того, как было списано за границей.

Проработав еще полтора десятка лишних лет, оно пришло в такое состояние, что теперь весь производственный процесс оказался организованным вокруг заглавных для книги «сбоев и поломок», определяющих современную жизнь завода и его сотрудников. На эту ситуацию накладывается менеджерская нелиберальная одержимость оптимизацией и повышением производительности труда, в результате чего изношенные машины работают на максимальных оборотах. Это ведет к постоянным поломкам и угрозе порицаемой начальством остановки оборудования, так что операторы машин вынуждены все время и любыми средствами поддерживать их работу. Вторым следствием износа в сочетании с максимальными темпами производства оказывается запредельное, еле контролируемое количество брака, требующего дополнительного ручного труда для отправки на переработку.

Представив этот многообещающий эмпирический материал, во второй главе Пинчук приступает к его теоретической обработке. Участие в реальном функционировании современного завода позволяет исследовательнице поставить под вопрос расхожие представления об автоматизации и роботизации современного производства, которые оказываются – во всяком случае на одной подмосковной кондитерской фабрике – «фантомами ненаступившего будущего» (с. 101). Если когда-то и можно было говорить об исчезновении профессии рабочего, то точно не сейчас и не здесь: вместо рутинного конвейерного труда или наблюдения за исправно функционирующей машиной операторы вынуждены заниматься бредовой (без ссылки на Дэвида Гребера<sup>2</sup> книга, конечно, не обходится)

деятельностью по поддержанию работы заведомо неработоспособного оборудования, заменить которое руководству кажется невыгодным. Таким образом, современный завод оказывается пространством новых нерегламентированных форм человеческого ручного труда, требующих изобретательности, креативности, живого опытного знания – всех тех качеств, которые обычно связываются с нематериальным трудом и экономикой знаний, о которых писал Андре Горц<sup>3</sup>, постиндустриальной эпохой и так далее. Изношенное состояние оборудования перекраивает рабочие взаимоотношения, задает новые критерии квалификации операторов, формирует особые навыки, требует наличия дополнительных инструментов – все это за пределами кодифицированных правил или в прямом конфликте с ними – и связывает между собой работников фабрики: «сбои и поломки стали единственным важным элементом повседневности и основой коллективной идентичности» (с. 126).

Третья глава книги проблематизирует уже не фабричный, а исследовательский труд. Обращаясь к автоэтнографии, Пинчук анализирует собственный полевой опыт, его предысторию и контексты. Включенное наблюдение заводской жизни изначально было частью коллективного социологического проекта, столкнувшегося с рядом трудностей, «сбоев и поломок», в результате которых исследование стало индивидуальным. Что важно, эти препятствия носили системный характер и были связаны с общими проблемами современной академической науки – нестабильной занятостью и недофинансированностью. Пинчук оказалась вовлечена сразу в два трудовых порядка, равно требующих

**2** GRAEBER D. *Bullshit Jobs: A Theory*. New York: Simon & Schuster, 2018; рус. перев.: ГРЕБЕР Д. *Бредовая работа. Трактат о распространении бессмысленного труда*. М.: Ad Marginem, 2020.

**3** Андре Горц (1923–2007) – французский левый философ, социолог, журналист. На русском языке вышла одна из основополагающих его книг: Горц А. *Нематериальное. Знание, стоимость и капитал*. М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2010.

больших физических и интеллектуальных затрат и проблематично сочетающихся друг с другом. Помимо рефлексии по поводу своего специфического двойного статуса, исследовательница анализирует ретроспективно обнаруженные собственные стереотипы о заводском труде и жизни рабочих, а также размышляет о довольно очевидных, но от этого не менее остро переживаемых, этических проблемах, связанных с включенным наблюдением, необходимостью скрывать на начальных этапах свои научные намерения и установлением доверительных отношений с информантами.

Один из возможных вопросов, возникающих по прочтении этой ясной, сжато написанной книги, связан с выбранной в ней формой представления результатов социологического исследования. Как сообщает Пинчук, в своем тексте она прибегла к анонимизации (с. 26) фабрики, ни названия, ни точного местоположения, ни владельцев которой читатель не узнает. Более того, фигурирующие на страницах книги работники, с их именами, характерами и должностями, – лишь «собираемые образы» (с. 25). Таким образом, исследовательница доводит до предела уже несколько десятилетий присущее антропологии стремление к фикционализации своих научных нарративов. Повествование на протяжении всей книги последовательно ведется от первого лица, теоретические рассуждения чередуются с бытовыми зарисовками, а последняя саморефлексивная глава делает, как это повелось в автоэтнографии, работу похожей на описывающее собственное происхождение, замкнутое на себя модернистское произведение искусства.

Подобное сближение научного исследования и художественного вымысла продуктивно обнажает сделанность, искусственность первого и эпистемологический потенциал последнего. Однако возникает вопрос о связи между способом репрезентации и степенью репрезентативности

полученных данных. «Собираемые образы», образованные в результате эстетических операций сгущения и смещения, предполагают наличие хотя бы минимального прибавочного смысла, аллегоричности, способности обозначать целую группу явлений. Между тем остается непонятным, насколько типичен или, напротив, уникален опыт подмосковной конфетной фабрики с чрезвычайно износившимся оборудованием. Могут ли описанная в книге полувывымышленная фабрика и ее работники символизировать собой устройство заводского труда в современной России? Подходят ли для широкого применения убедительные выводы о (не)автоматичности и креативности фабричной работы? Как бы то ни было, эти вопросы не должны заслонять того факта, что рецензируемая книга – очень удачный компактный опыт переосмысления и обновления мыслительных схем, с которыми мы подходим к явлениям современного индустриального труда.

Олег Ларионов

### *Взламываемая философия*

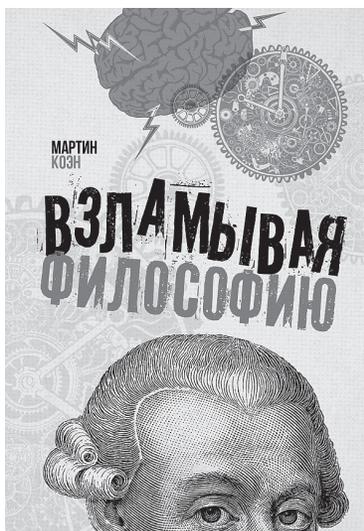
МАРТИН КОЭН

М.: АСТ, 2020. – 320 с. – 3000 экз. –

Серия «Взламываемая наука»

В последние несколько лет крупные российские издательства, словно соревнуясь между собой, печатают все больше популярных книг, посвященных философии. Жанр, казалось бы, не слишком высокий, но сама тенденция кажется вполне отрадной, ибо невозможно заинтересовать современного читателя, скажем, «Рассуждениями об опыте» Рене Декарта или «Левиафаном» Томаса Гоббса, не представив прежде самих мыслителей и их основные идеи в простом и привлекательном виде. Поэтому, увидев на обложке название, подобное тому, что

у рецензируемой книги, не будем высокомерно отворачиваться: вещь может оказаться вполне стоящей. В конце концов, нынешняя волна философской популяризации начиналась в 1991 году с такого общедоступного шедевра, как «Мир Софии» Юстейна Гордера, норвежского школьного учителя, многих заставившего взять в руки настоящие философские книги и увенчанного переводами на четыре десятка языков и даже экранизацией.



Британский преподаватель философии Мартин Коэн (Университет Хартфордшира) работает в русле той же традиции. В своей книге, первое издание которой состоялось в 2017 году, он попытался представить панорамное видение эволюции философской мысли от самых ее истоков и до нынешних дней. Особенность его подхода в том, что история мировой философии видится ему гигантским собранием нерешенных и, возможно, вообще неразрешимых проблем. Трактующее в подобном свете философствование, во-первых, бесконечно, а во-вторых, безнадежно, но в нем, по мнению автора, важен отнюдь не результат, а само человеческое усилие, направленное на раскрытие спрятанных смыслов. Представляя эволю-

цию философской мысли, Коэн в основном придерживается временного принципа, но не считает его нерушимым: когда ему нужно сопоставить апории Зенона с относительностью по Эйнштейну, он анализирует обе доктрины в одной и той же главе. Разумеется, у такого метода есть как преимущества, так и недостатки. Минус очевиден, поскольку прозрения и догадки какого-то философа не всегда собраны в одном месте, но зачастую разбросаны по разным главам, и кого-то из читателей это может раздражать. Но бесспорный плюс заключается в том, что каждая глава делается как бы самостоятельной, она не теряет цельности даже в тех случаях, когда ее читают в отрыве от остального текста.

В книге десять глав, и, хотя разбивка, как только что было сказано, условна, следование ей кажется наиболее удобным способом разговора об этой работе. В первых трех главах («Там, где все началось. Первые философы», «Золотой век философии» и «Бог: в поисках мудрости») автор представляет знаменитых мыслителей «осевого времени» – прежде всего греков и китайцев, – особо выделяя в их ряду Платона, Пифагора, Зенона, Конфуция и Лао-Цзы, а также описывает предпринятые ими и их наследниками изыскания, нацеленные на обретение абсолютной Истины. Каждый из них – и китайцы не исключение – так или иначе работал с вечной триадой «истина, красота, благо», впервые сформулированной Парменидом. Предложенное последним толкование истины, под которой понималось «то, что должно быть и не может быть по-другому» (с. 15), задало алгоритмы философствования на много веков вперед. Обращает на себя внимание, что Платон и Конфуций зачисляются автором в один и тот же лагерь искателей абсолютного, предвечного, непоколебимого; «положение Конфуция в китайской культуре может быть сопоставлено с тем, что занимали Сократ и Платон

на Западе» (с. 30–31). Причем, как подчеркивается в книге, параллели не ограничивались лишь этим, поскольку и в греческой, и в китайской культуре наблюдалось одно и то же любопытное явление: чем желаннее становилось обладание Истиной с большой буквы, тем острее осознавалась проблематичность самого этого понятия и сомнительность притязаний на его постижение. Благодаря элеатам на Западе и даосам на Востоке, а также их многочисленным последователям, постепенно складывалось убеждение, что «истина сама по себе – проблематичная концепция для философов» (с. 20). Работая в разных культурных и идеологических контекстах, греческие и китайские мыслители приходили к выводу, что разум и истина далеко не всегда дружат между собой: есть такие истины, для постижения которых разумное начало вовсе не требуется – более того, они могут как поработать, так и освободить.

Поначалу западная и восточная мудрость не только шли одним и тем же курсом – в частности, в старом Китае были свои платоны и софисты, а в античной Греции свои лао-цзы и конфуцианцы, – но также плодотворно обогащали друг друга. Показательно в этом смысле наследие Платона, которому автор фактически отказывает в праве именоваться «европейским мыслителем». Не будем удивляться: уже во введении читателю было обещано: «Придется разнести в пух и прах не одно осященное веками почтенное мнение о том, что такое философия и чем она была» (с. 6). Мартин Коэн держит слово: ведь если верить книге, то большая часть идей, пропагандируемых Платоном, ему вообще не принадлежала – скорее он транслировал потомкам содержание дискуссий, которые вели его предшественники, первым из которых называется Пифагор. В своих оценках автор категоричен:

«Когда говорят, что история западной философии является, в сущности, не чем иным, как заметками на полях платоновских рукописей, стоит отметить, что весь Платон – не более чем примечания к Пифагору» (с. 50).

Последний же, как известно, черпал вдохновение у мудрецов Египта и Персии; именно оттуда в Грецию был привезен культ математики и поклонение цифре, оказавшие на западную философию гораздо более глубокое влияние, чем принято считать. Конечно, Платону многое приходится договаривать за Пифагора, поскольку последнего зачастую неправильно толковали – Пифагорово учение в процессе такой реинтерпретации неизбежно искажалось, и поэтому «дистиллированный» Пифагор для нас сегодня недоступен. Но что не вызывает сомнения, так это гигантское влияние привнесенных им математических методов мышления на все последующее развитие европейской философии.

«Пифагор верил, что математика являла проблеск совершенной реальности, отражением которой является наш мир, противопоставляя эту чистую, неспорченную, божественную реальность развращенным земным сферам. К несчастью, полагал он, человеческая душа была поймана в клетку этой сферы и закована в тело, как в гробницу» (с. 64).

В последующие тысячелетия подобная линия рассуждений получила всестороннее развитие. Кстати, в ходе анализа античной философии среди пострадавших от беспощадного автора оказывается не только Платон; досталось и Аристотелю, который «даже сейчас возвышается как авторитет над многими дисциплинами, несмотря на то, что, если присмотреться, что бы он ни утверждал, он почти везде не прав» (с. 73).

Но, как бы то ни было, в конечном счете математический инструментарий абсолютной Истине не помог: ее все равно сослали

в сферу религии, разлучив с философией (с. 22). Правда, произошло это не сразу. В наши дни, справедливо отмечает Коэн, философию и религию стараются не рассматривать в качестве двух сторон одной медали – скорее их принято противопоставлять друг другу. Однако «эта новейшая враждебность скрывает куда более значительную и важную историю симбиоза» (с. 8). Автор с симпатией цитирует Гюстава Флобера, сумевшего, по его мнению, лаконично и ярко передать всю сложность этого соотношения: «небольшая доза науки уводит прочь от религии, но все, что свыше того, возвращает нас к ней же». Изначально западная философия и западная религия сомкнулись на исследовании двух сюжетов, которые интересовали обеих: смерти и зла. Сопоставляя Августина и Фому, двух средневековых мыслителей-священнослужителей, занимавшихся этой проблематикой, автор отдает предпочтение второму из них (с. 89–101). По его мнению, если Августин вбивал клин во взаимоотношения веры и разума, категорически обособляя одно от другого в своей концепции первоначального греха и тем самым делая философию ненужной, то Аквинат, напротив, внес в развитие философии неоценимый вклад: он требовал обосновывать существование бога не столько свидетельствами веры, сколько рациональными доводами, тем самым подталкивая философское знание вперед. Так вызревал фундаментальный прорыв, подготовивший новый этап в истории философии.

Этому прорыву, определяющей чертой которого стало торжество рационального познания, автор посвящает следующие три главы («Ренессанс и триумф разума», «Просвещение, философия и подъем науки» и «Ищайки эмпиризма: Локк, Беркли и Юм»). По мере того, как набирает обороты секуляризация, человеческое мышление преобразуется: регламентирующие его рамки становятся иными, нежели прежде, а точнее

говоря, просто оседают и размываются. «Мысли ренессансного человека свободно следуют за тем, куда его влечет любопытство» (с. 104), а это видоизменяет как практические, так и теоретические аспекты философствования. Хотя родоначальник принципа «радикального сомнения» Декарт все еще звучал эхом средневековых мыслителей, очень скоро основанная им школа философов-картезианцев прощается с теологией и переходит к бесстрастному анализу любых рациональных конструкций. Касаясь духовной атмосферы XVI–XVII столетий, автор меняет типичную для анализа той эпохи фокусировку: он выдвигает на передний план фигуру Фрэнсиса Бэкона, которого «часто игнорируют», но который воплощал дух времени намного полнее, чем «агрессивный Ньютон или высокомерный Галилей» (с. 119). Говоря о политических мыслителях, Коэн, естественно, останавливается на Никколо Макиавелли и Томасе Гоббсе, трактуя их прежде всего в качестве социальных психологов. С точки зрения Коэна, создатель «Левиафана» смог затмить не только творца «Государя», но и самого Фридриха Ницше: английский философ сформулировал те же постулаты, на которых потом базировалось ницшеанство, значительно убедительнее, элегантнее и на двести лет раньше.

Пострелигиозная философия есть философия рационализма, ключевыми фигурами которой на первом ее этапе автор провозглашает Рене Декарта, Готфрида Лейбница и Баруха Спинозу. Это правильно, хотя некоторые читатели, вероятно, будут удивлены, обнаружив, что важнейшим основанием, сближающим этих мыслителей, в книге выставляется особо горестное завершение каждым из них своего жизненного пути. Казалось бы, банальность, ведь все люди, включая философов, умирают, однако для Коэна это принципиальный момент – похоже, что дурная кончина в авторской оптике как-то связана с внутренней по-

рочностью самого рационалистического метода. «О бесславной смерти этих трех гигантов континентального рационализма не так часто рассказывают», – с укоризной заявляет автор, незамедлительно восполняя вскрытую им лауну (с. 137). Он напоминает, что Декарт умер от пневмонии в Швеции, ненавистной ему стране вечного снега, Спиноза скончался, не дожив даже до 45 лет, а последние дни Лейбница были отравлены дискуссиями о том, присваивал он чужие идеи или нет, из-за чего его могила оставалась без памятника в течение последующих пятидесяти лет. Более того, все трое считались практикующими черную магию.

У этой тройцы рационалистов подразумевается и еще одно сближающее их качество, не проговариваемое, однако, Коэном столь же явно: ни один из этих мыслителей, намекает он читателю, в общем-то, не отличался особой оригинальностью. Декарт, например, свой метод «назвал “методом сомнения”, но для философии в этом не было ничего нового; античные скептики сомневались намного более серьезно и решительно, чем Декарт» (с. 146). Спиноза лишь по-новому изложил Маймонида, а его идея Бога, который, подобно математической конструкции, не испытывает любви к людям, «вскоре вышла из моды» (с. 151). Что же до Лейбница, то вклад этого создателя путаного учения о монадах тоже «был сильно преувеличен» (с. 152), а предложенные им философские принципы – законы достаточного основания, непротиворечия, тождества – «самоочевидны» (с. 157). По мысли автора, всю эту компанию по инерции принято считать «великими именами рационалистической философии», но «понастоящему великим рационалистом был тот мыслитель, чьи достижения оказались так велики, что вывели его за пределы царства философии и сделали основателем нового вида науки – физики» (с. 157). Речь, разумеется, идет об Исааке Ньютоне, сыне

английского фермера. Именно Ньютон стал первым в истории ученым: всех его предшественников автор не без пренебрежения называет «натурфилософами».

Дело, однако, не только в Ньютоне. Автор книги, не таясь, демонстрирует свою глубокую предрасположенность к англичанам, считая именно их наиболее продвинутыми мыслителями Нового времени. В то же время и здесь акценты расставляются не слишком традиционно. Скажем, трезвый эмпирик Джон Локк, политическая теория которого повлияла на несколько революций, упрекается в вопиющей двусмысленности воззрений на свободу: осуждая рабство как социальное явление, позорящее британскую нацию, этот поборник разума, напоминает автор, «постоянно совершал личные инвестиции в Королевскую африканскую компанию» – одно из самых жестоких предприятий того времени, торгующих людьми (с. 171). По мнению автора, этот факт чрезвычайно важен: он заметно обесценивает учение Локка. Но зато Джордж Беркли, эмпиризм которого назвать трезвым весьма трудно, поскольку он «предложил своего рода “радикальный идеализм”, в котором мир теряет объективную реальность» (с. 184) (Ленин, как известно, был очень травмирован этим фактом), превозносится на страницах книги за то, что «был озабочен социальными вопросами и активно защищал интересы бедных жителей родной Ирландии», а также, посещая Америку, пытался учредить там колледж для рабов (с. 182). Впрочем, в авторском нарративе Беркли, не говоря уже о Локке, не может сравниться с Дэвидом Юмом, которого исследование чувственной природы познания привело к убеждению, что опыт вообще непригоден для приобщения к истине, а единственная разумная стратегия – полностью избавиться от всего, что он предлагает. Скептический настрой Юма в отношении эмпирического метода придавал мощный толчок последующему развитию

европейского рационализма. Но, даже признавая величие свершений, оставленных Юмом, автор не отказывает себе в удовольствии поехидничать и над ним тоже: «Юм, как и Платон, не относится к тем философам, которых мучают сомнения, он больше писатель, наслаждающийся возможностью поболтать» (с. 198).

Две последующие главы зеркально дополняют друг друга: если в седьмой («Капитализм и человек рациональный») автор представляет создателей великих и всеобъемлющих философских систем XVIII–XIX столетий, то в восьмой («На распутье: философские идеи романтизма и борьба человека за выживание») главными героями предстают их разрушители. С одной стороны, компания неисправимо серьезных систематизаторов в составе Иммануила Канта, Георга Вильгельма Фридриха Гегеля и Карла Маркса стремилась к тотальности и завершенности философского мирозерцания, и на этом пути каждый из них, увы, своим учением внес тот или иной вклад в формирование будущих тоталитарных идеологий. Все перечисленные мыслители, пишет автор, «пытались установить “раз и навсегда” правила, которые управляют не только человеческим обществом, но и [...] всей Вселенной» (с. 236). С другой стороны, «взломщики системы» в лице пессимистичного Артура Шопенгауэра, эксцентричного Жан-Жака Руссо и остроумного Сёрена Кьеркегора не видели ни малейшего смысла во всеобъемлющей рационализации мира, считая, что законченные и тотальные нарративы убивают чувство – то главное, что делает человека человеком. С онтологией они боролись посредством психологии, хотя, несмотря на культ субъективности и превознесение личности, столь милые последующим эпохам, ни одному из них современники и потомки так и не воздали по достоинству. Руссо и сегодня остается «одним из самых недооцененных мыслителей» (с. 241), Шопенгауэр большую часть

жизни вообще не имел читателей (с. 255), а Кьеркегор, не сумев сделать себе имя даже в такой миниатюрной литературе, как датская, самоутверждался в борделях и рюмочных Копенгагена (с. 265). Тем не менее сегодня мы знаем, что вклад этих первых экзистенциалистов – в широком смысле слова – в дальнейшее развитие философского мышления оказался громадным: эта троица «недвусмысленно подвергает сомнению всю генеральную линию западной философии начиная с греков и все ее попытки найти смысл в мироздании либо при помощи чистого рассуждения, либо при помощи физического исследования и науки» (с. 256).

Две завершающие главы («Язык, истина и логика» и «За пределами науки: философы все еще в поисках мудрости») представляют экскурсии сначала в историю лингвистической философии прошлого века, где главными героями ожидаемо выступают Людвиг Витгенштейн, Бенджамен Ли Уорф и Жак Деррида, а потом в философию науки – с центральными персонажами в лице апологета «открытого общества» Карла Поппера, специалиста по теории научных революций Томаса Куна и методологического анархиста Пола Фейерабенда. Здесь, как и в предыдущих разделах, автор не слишком церемонится с теми философами, которые ему не по душе. Например, одному из крупнейших мыслителей XX столетия отведены всего четыре строчки:

«Единственное, что стоит упоминания в философском проекте Хайдеггера, – это проблематика роли времени в структурировании нашего мира как в нашем мышлении, так и в написанных текстах» (с. 296).

Подводя итог, можно сказать, что книге Коэна сполна присущи все издержки и преимущества избранного им жанра. С одной стороны, работа предлагает взгляд на интеллектуальную историю с «высоты птичьего полета», и это не только информативно,

но и красиво. С другой стороны, при таком подходе многие нюансы исчезают и стираются, а важные мыслители и доктрины остаются в глубокой тени. Скажем, обеспечив читателю пусть мимолетное, но все же знакомство с великими китайцами, автор проходит мимо индийской философской традиции – несмотря на ее бесспорную значимость. Та же необъяснимая избирательность проявляет себя и в его работе с европейскими мудрецами, многие из которых не удостоены даже упоминаний. Впрочем, заслуженно критикуя автора, мы должны в очередной раз признать: появление подобных книг все-таки отрадно, поскольку они так или иначе напоминают о существовании такой замечательной вещи, как философия – любовь к мудрости, остающаяся в дефиците в любую эпоху.

Юлия Крутицкая

### ***Деревянные глаза. Десять статей о дистанции***

Карло Гинзбург

Перев. с ит., фр., англ. М.Б. Велижева,

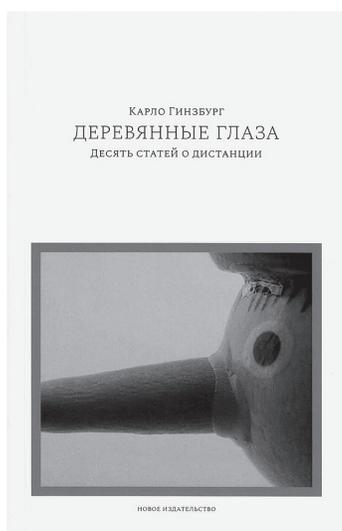
Г.С. Галкиной, С.Л. Козлова, ред.

В.В. Зельченко

М.: Новое издательство, 2021. – 448 с.

Едва ли не самый именитый из современных историков, Карло Гинзбург не нуждается в представлении русскоязычной публике: ученый не раз приезжал в Россию, с которой связан как биографически, так и интеллектуально, а рецензируемое издание – его пятая книга, выходящая на русском языке. Вряд ли стоит подробно говорить и о таких общепризнанных свойствах исследователя, как способность сочетать тщательный анализ отдельных случаев с широкими обобщениями, сопрягающими явления далеких друг от друга периодов и обществ; принципиальная от-

крытость к междисциплинарному диалогу истории с антропологией, искусствоведением, филологией; умение переходить от изучения конкретного материала к утонченной методологической рефлексии и постановке теоретических вопросов; поразительная эрудиция и блеск изложения. В статьях, составивших обсуждаемый сборник, Гинзбург обращается к разнообразным сюжетам, общим знаменателем для которых оказывается вынесенное в подзаголовок понятие «дистанция». Это многозначное слово может отсылать как к расположению физических тел в пространстве и их зрительному восприятию, так и, метафорически, к определенной эпистемологической установке, к отстраненному умозрительному рассмотрению предмета познания. Имея в виду оба этих смысла, историк организует свою книгу вокруг двух ключевых тем: теоретических и практических подходов к образам, изобразительному искусству, визуальности в Европе от античности до наших дней, с одной стороны, и устройства исторического взгляда на мир, с другой.



Точкой вхождения в многослойную аргументацию Гинзбурга может послужить вторая глава книги, посвященная мифу. От-

талкиваясь от критики лживых мифов Платоном, историк обращается к греческим и римским размышлениям о природе языка, выведившим отдельные слова за пределы оппозиции истинного и ложного. Сведя вместе эти сюжеты, ученый очерчивает поле античных представлений о вымыслах, которые использовались не только в поэзии или логике, но и в юриспруденции. Различие между фикциональностью и банальной ложью в дальнейшем утверждалось Августином и его средневековыми последователями, которые видели в фигуральном поэтическом языке приспособленное к слабому человеческому разумению средство сообщения божественной истины; этим же оправдывалось аллегорическое истолкование Библии, следствием чего могло быть прямое отождествление поэзии и теологии. Согласно Гинзбургу, «усовершенствованная в течение веков способность контролировать связь между видимым и невидимым, между реальностью и вымыслом» была составляющей «технологического достояния, позволившего европейцам завоевать весь мир» (с. 91). Обозначив этим тезисом сопричастность фикциональности отпавлению власти, историк прослеживает развитие данного комплекса идей от рассуждений Платона об управлении народом с помощью мифов через средневековые шутки о трех обманщиках – Моисее, Христе и Магомете, – понимание религии как политически необходимого обмана у Макиавелли, завуалированную критику христианских вымыслов у либертинов, апологию государства как «смертного бога», «религии *sui generis*» (с. 117) у Гоббса, атеистическую мысль эпохи Просвещения, новые националистические мифологии XIX века, Марксов анализ деятельности президента и потом императора Луи-Наполеона, сочтавшего «талант комедианта [*showman*], авторитаризм и плебисциты» (с. 126), пропагандистскую манипуляцию массами

в XX столетии до диагностированного Адорно и Хоркхаймером «превращения политики в зрелище» (с. 138) в современных капиталистических обществах. Очерченные в этой главе связи между образами, религиозной или политической властью и потенциальной возможностью критического дистанцирования и анализа задают основные смысловые координаты для всей книги.

В третьей главе Гинзбург помещает в широкую антропологическую перспективу анализ использования – начиная с XIV века – на похоронах английских и французских королей манекенов, репрезентировавших умерших правителей. Приводя в пример сходные практики древних греков, римлян и инков, а также балансирующее на грани идолопоклонства средневековое отношение к мощам святых, он говорит об общем свойстве (религиозных) образов функционировать в качестве субституттов, отсылающих к трансцендентному, и противопоставляет им христианский догмат о пресуществлении, реальном присутствии Христа в таинстве Евхаристии, принятие которого в 1215 году сделало возможным последующее развитие европейского изобразительного искусства, а также породило явление, ставшее «конкретным символом абстракции государства: скульптурное изображение короля, называвшееся *репрезентацией*» (с. 174). В следующих двух главах описываются другие эпизоды из истории западной визуальной культуры: происхождение ряда христианских иконографических типов из евангельских пассажей, восходивших к иудейской профетической традиции и строившихся на жесте указания («се», «вот»), а также судьба и контексты отрывка из Оригена, в котором со- и противопоставлялись идолы и изображения.

Между тем не меньше внимания Гинзбург уделяет и оборотной стороне западной культурной традиции: не только увлекательным перипетиям ее внутренней

динамики, но и драматическим отношениям со значимым другим – еврейской культурной традицией. В ключевых моментах всех выше описанных сюжетов европейской истории обнаруживается намеренное дистанцирование от иудаизма, а зачастую и прямой антисемитизм: аллегорическое толкование Библии призвано приспособить Ветхий завет к Новому, а фантазии властей об искусной манипуляции населением вменяются евреям в «Протоколах сионских мудрецов»; утверждение Евхаристии совпадает с усилением гонений на евреев и обвинениями в ритуальных жертвоприношениях; евангельский нарратив об Иисусе во многом складывается из элементов, восходящих к иудейским мессианским текстам, в то же время христианство в целом противопоставляется иудаизму как религия «духа» религии «слова», «плоти», идолопоклонства – в девятой главе Гинзбург демонстрирует, как этот язык невольно воспроизводит папа Иоанн Павел II в примирительной речи, произнесенной при посещении римской синагоги. Фундаментальная двусмысленность важнейших европейских категорий и способов мышления иллюстрируется в шестой главе на примере истории идеи стиля. Обнаружив у Цицерона мысль о том, что «пути к художественному совершенству различны и несравнимы между собой», историк показывает, как она была переформулирована в теологической перспективе Августином, применившим риторические представления об «уместности», «подобающем» к сфере религии, что позволило ему «одновременно учитывать и фактор божественной неизменности, и фактор исторической изменчивости» (с. 252). В дальнейшем идея стилистического плюрализма возникает в ренессансных обсуждениях живописи (у Кастильоне и Вазари) и получает развитие в искусствоведении и художественной критике, способствуя формированию исторического взгляда на искусство, с одной

стороны, и постулированию радикальной несоизмеримости великих художников друг с другом, с другой (например у Бодлера). Параллельно, однако – впервые у Винкельмана и намного последовательнее в теориях рубежа XIX и XX веков, – появляется мысль о неразрывной связи стиля с нацией или расой. Приводит это, разумеется, к нацистским утверждениям о германской сущности готики и нетворческой природе евреев; отголоски этого дискурса ученый обнаруживает в релятивистской концепции стилей науки Пола Фейерабенда, чему он противопоставляет необходимость перевода (интерпретации) и понимания разных языков и стилей.

В седьмой главе Гинзбург продолжает обсуждение того же круга проблем, теперь уже эксплицитно обращаясь к устройству взгляда историка и анализируя три базовые для европейской традиции модели понимания истории. Первая – это уже упоминавшееся учение Августина о «божественной адаптации к историческому процессу», примиряющее «божественную неизменность с историческими изменениями, истину иудейских храмовых жертвоприношений с истиной христианских таинств, превзошедших иудейские жертвоприношения» (с. 341–342). Эта модель легла в основу гегелевской диалектики и «стала ключевым элементом нашего исторического сознания: прошлое надлежит мыслить одновременно и в его собственных категориях, и как звено в длинной цепи времен, доходящей в конечном счете до нас» (с. 344). Вторая модель была сформулирована Макиавелли вскорости после изобретения линейной перспективы в итальянской живописи и строилась на конфликте точек зрения различных акторов исторического процесса; ее современную переработку можно обнаружить у Маркса. Третья модель возникает у Лейбница и характеризуется множественностью гармонично сосуществующих перспектив и точек зрения; позже перспек-

тивизм использовался Ницше в «борьбе против позитивистической объективности» (с. 357). Как заключает Гинзбург, в основе «нынешней историографической парадигмы» лежит «секуляризованная версия модели божественного согласования, разбавляемая теми или иными дозами конфликта и множественности» (с. 360). Соответственно, «на способе, которым мы познаем прошлое, лежит глубокая печать христианской позиции превосходства по отношению к иудеям» (с. 361). При этом принципиально важно, что, даже раскрыв антисемитскую подкладку европейского исторического мышления, исследователь от него не отказывается. В условиях критики модели согласования и глубокого кризиса модели конфликта (историк ссылается на идею «конца истории» Фрэнсиса Фукуямы; стоит учитывать, что статья написана во второй половине 1990-х) наиболее привлекательной оказывается модель множественности (условно «постмодернистская» и связанная с политикой идентичности). Гинзбург призывает не упускать при этом зачастую отвергаемого «интеллектуального дистанцирования» и помнить про продуктивное «напряжение между субъективной точкой зрения и объективными, верифицируемыми истинами, гарантированными реальностью (как у Макиавелли) или Богом (как у Лейбница)» (с. 362–363).

Таким образом, дистанция оказывается в рецензируемой книге не только объектом изучения, но и рекомендуемой эпистемологической установкой. Уже в первой главе сборника, посвященной генеалогии описанного Шкловским приема остранения, ученый совмещает рассказ о духовных упражнениях стоиков, народных загадках, литературной фигуре дикаря и Прусте с размышлениями о том, что остранение ценно для историков как «эффективное средство противодействия тому риску, которому подвержены все мы: риску принять реальность (включая сюда и нас самих) за нечто

самоочевидное, само собой разумеющееся» (с. 61). Вопрос о соотношении дистанции и сочувствия рассматривается в восьмой главе на примере мысленного эксперимента с китайским мандарином. Наконец, наиболее эксплицитно Гинзбург обсуждает свое научное кредо в десятой главе, впервые опубликованной в 2012 году и вошедшей только в русское издание «Деревянных глаз». Отталкиваясь от рассуждений Марка Блока, ученый объявляет ключевым вопросом о соотношении «наших» и «их» слов – языка исследователя и языка источника. Используя антропологическую оппозицию этических (внешних по отношению к изучаемой культуре) и эмических (имманентных этой культуре) категорий, он формулирует задачу историка как переход от этических вопросов к эмическим ответам, корректирующим исходные вопросы. Применять этот герменевтический метод должен при анализе конкретных случаев, выбранных с расчетом на последующее обобщение. По мысли Гинзбурга, практикуемая таким образом микроистория позволяет преодолеть этноцентризм и разрушает устоявшиеся иерархии, достойно реагируя на вызовы глобализации.

Особенностью и заслугой Гинзбурга следует считать выработку специфического типа письма, отличающегося от стандартного языка историков. Соблюдая все жанровые и стилистические конвенции научного дискурса, это письмо, однако, словно выламывается из рутинного потока академических публикаций и ведет разговор с большей дистанции, с особой наблюдательской позиции, позволяющей разглядывать то же проблемное поле в иной перспективе. Читая, перечитывая, сталкивая, комментируя десятки и сотни текстов, художественных и научных, древних и новых, каноничных и неизвестных, историк собирает их в те или иные цепочки, извилистые траектории мысли. Речь почти никогда не идет о реконструкции истори-

ческого опыта, лежащего по ту сторону источников; в этих своих работах Гинзбург почти без исключений остается в пределах текстов, замечаний на полях, перекрестных ссылок и параллельных мест. Границы между главами стираются, остается ощущение организующего книгу единства мысли, в пространстве которого быстро начинаешь различать излюбленные лейтмотивы (например соотношение истории и морфологии) и значимых собеседников (Эрнст Гомбрих или Эрих Ауэрбах). Как представляется, с этим типом письма может быть затруднено профессиональное взаимодействие: скорее хочется сослаться на книгу целиком, чем на конкретный разбор, как правило, беглый, или сюжет, обычно изложенный фрагментарно. Однако и книга, при всей продуманности ее построения, едва ли оказывается предельной смысловой единицей; читатель имеет дело с узнаваемым способом мысли, который в той же мере выражается и в других текстах или выступлениях Гинзбурга. Знакомство, первое или очередное, с текстуальными следами этого опыта тотального исторического мышления трудно не воспринимать как дар, безвозмездное подключение к полю сложной, нестандартной, эрудированной, очень персональной рефлексии, которая существует на своих условиях и выглядит уже не менее ценным артефактом европейской культуры, чем то, что она осмысляет.

ОЛЕГ ЛАРИОНОВ

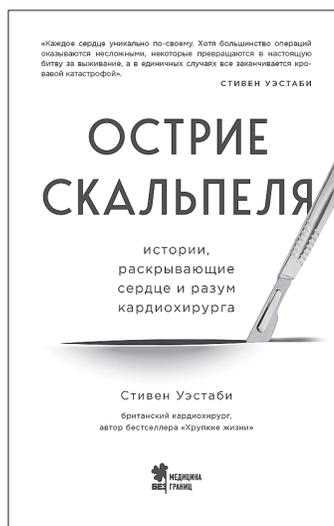
***Острие скальпеля. Истории, раскрывающие сердце и разум кардиохирурга***

СТИВЕН УЭСТАБИ

М.: Бомбора, 2020. – 320 с. – 4000 экз.

Документальная мемуарная проза, написанная врачами, в последние годы набирает популярность. Об этом можно судить по

рекламным выкладкам в книжных магазинах, где откровения хирургов соседствуют с очередной полусотней «оттенков серого» и самоучителями типа «Как стать счастливым за три дня». Авторы этих мемуаров, как правило, иностранные врачи, причем выдающиеся. В своих странах такие воспоминания становятся бестселлерами. Российские издательства охотно их переводят и публикуют, потому что, во-первых, это интересно и поучительно, во-вторых, написано человеческим языком – и даже названия сложных диагнозов добавляют интриги. В этих книгах есть то, что есть в любой хорошей прозе: повествование, история. Специфика профессии врача в том, что она сплетается с жизнями других людей, а поскольку жизнь зачастую оказывается богаче любого вымысла, необычные случаи из практики всегда интересны. Но хорошая врачебная проза – это не просто пересказ необычных случаев и хода сложных операций, это и осмысление пройденного пути, в том числе и сделанных на нем ошибок. Медицинская карьера становится фоном, на котором проявляются личные качества автора, возникают эмоции и мысли, в том числе по поводу устройства общества, власти, сферы здравоохранения.



Такова и обзриваемая здесь работа британского кардиохирурга Стивена Уэстаби, которая в этом похожа на книгу британского нейрохирурга Генри Марша «Не навреди»<sup>4</sup>. Первая книга Уэстаби «Хрупкие жизни», вышедшая в Великобритании в 2017 году и также переведенная на русский язык, получила восторженные отклики читателей<sup>5</sup>:

«То же, что Генри Марш сделал для нейрохирургии благодаря своей книге “Не навреди”, Уэстаби делает для кардиохирургии с помощью этой яркой, страстной серии историй, собранных за всю его долгую карьеру, которая прошла на переднем крае битвы за технологию искусственного сердца»<sup>6</sup>.

Эти истории благодаря их драматическому накалу читаются, как детектив, но дело не только в этом: знакомясь с очередным кардиохирургическим кейсом, проникаешься пониманием хрупкости жизни, и это понимание добавляет экзистенциальное измерение как твоей собственной жизни, так и жизни человеческой популяции. Смерть с косой часто выглядывает из-за плеча хирурга – одно неверное движение руки, и человеческая жизнь ускользает. В этом ужас, саспенс и азарт, – каждая такая книга как очередной фильм Хичкока – может быть, в том числе и поэтому читатели любят щекотать себе нервы подобными мемуарами. Интерес публики к жизни врачей и их мыслям естествен, если признать, что каждый человек – потенциальный пациент. Однако и Уэстаби, и Марш описали свой опыт для публики уже после завершения карьеры в хирургии: воспоминания еще свежи, но отставка дала необходимую для мемуариста дистанцию отстранения.

Стивен Уэстаби – всемирно известный кардиохирург с 40-летним стажем в про-

фессии, он сделал более одиннадцати тысяч операций на сердце, он автор уникальных хирургических методик. Удивительно, но сегодня он не скучает по операциям, заявляя, что четырех десятилетий работы ему хватило. Теперь наступило время рефлексии. Автор размышляет, почему ему удалось достичь так многого. Раздумывая, допустимо ли издать книгу о своих профессиональных сражениях для широкой публики, он пошел навстречу желаниям пациентов и их родственников, которые убедили его, что такая книга нужна. Еще одним мотивом, побудившим взяться за писательство, стала «государственная политика по разглашению в прессе уровня смертности пациентов каждого хирурга». (Решение открыть эту статистику для публики было принято после скандала в Бристольском королевском лазарете, где детская смертность однажды вдвое превысила показатели в других центрах.) Уэстаби стал писателем, чтобы показать жизнь «по ту сторону забора», помочь людям осознать, что хирург – тоже человек, не лишенный эмоций.

Есть несколько условий, которые необходимы любому хирургу: хорошие, «точные» руки, данные от рождения; подходящий темперамент, позволяющий говорить о смерти с родственниками пациента; смелость, чтобы взять на себя ответственность в критической ситуации; терпение и стойкость, когда приходится оперировать много часов подряд, не теряя концентрации, или дежурить несколько суток кряду. У большинства успешных хирургов есть и общие отрицательные черты, известные как «темная триада», включающая психопатическую и нарциссическую организацию личности, а также макиавеллизм (достижение цели любыми средствами). «Возможно, мучительный путь к карьере хирурга способны

4 См. мою рецензию на эту книгу в: Неприкосновенный запас. 2017. № 1(111). С. 270–274.

5 Уэстаби С. *Хрупкие жизни. Истории кардиохирурга о профессии, где нет места сомнениям и страху*. М.: Бомбора, 2017.

6 См.: [www.goodreads.com/book/show/33801469-fragile-lives](http://www.goodreads.com/book/show/33801469-fragile-lives).

пройти лишь люди, обладающие такими негативным чертами», – полагает Уэстаби (с. 33). Сам он в юности ими не обладал вплоть до того момента, как получил спортивную травму во время матча по регби: трещину в лобной кости и травматический отек мозга. «К счастью для меня, прежним я не стал», – пишет автор. У обычных людей префронтальная кора головного мозга посылает миндалевидному телу сигналы тревоги и страха, но у Уэстаби в результате черепно-мозговой травмы эта нейронная связь нарушилась, что привело к ложной психопатии.

«Я перестал быть увядающей фиалкой и превратился в раскованного, смелого и эгоистичного человека. [...] Казалось, я стал совершенно невосприимчив к стрессу; я полюбил идти на риск и превратился в зависимого от адреналина человека, всегда ищущего ярких эмоций» (с. 92).

Молодой Уэстаби стал человеком без тормозов и чувства вины, но при этом не утратил эмпатии. Имея при этом талантливые руки, оба ведущих полушария мозга и способность визуализировать мир в трех измерениях, он стал идеальным хирургом. В своей работе он постоянно шел на риск и тем развивал кардиохирургию. Готовность рисковать всегда была условием инноваций в медицине. «Да и сама жизнь – это риск, – добавляет автор. – Без возможностей для инноваций кардиохирургия зачахнет» (с. 95). Но система британского здравоохранения ориентируется на хорошие показатели; по этой причине на операцию могут не взять пациента с высоким уровнем риска, что опытный Уэстаби называет сегодня «убогим взглядом на профессию».

Автор с удивительной откровенностью препарировывает свою психическую организацию, словно вновь и вновь доказывая себе, читателям, пациентам и, возможно, медицинской бюрократии, что его успех в кардиохирургии объясняется его ново-

обретенными психопатическими чертами. От острого кончика его скальпеля зависели человеческие жизни, но этот факт не сдерживал его самоуверенности и необузданного энтузиазма. Что чувствовал Уэстаби, когда не раздумывая брался оперировать тяжелого пациента? «Только любопытство и нервное возбуждение, потому что мне попало что-то редкое» (с. 101). В такие минуты он не очень отличался от автослесаря, увлеченно копающегося в двигателе, и, возможно, именно это любопытство вместе с эмоциональным дистанцированием помогли ему спасти тысячи жизней. Даже теряя собственных пациентов, Уэстаби, по его признанию, быстро к этому привык. В этом хирургам способствует и то, что большинство смертей в кардиохирургии обезличены: «Пациент либо скрыт драпировкой на операционном столе, либо теряется на фоне мрачных атрибутов отделения интенсивной терапии» (с. 37).

Врач, склонный к риску во имя инноваций, становится *enfant terrible* любой бюрократической системы, не терпящей нарушений регламентов. Хирург, изобретающий новые протоколы операций, – человек несистемный. При этом вся деятельность Уэстаби прошла в NHS – британской Национальной службе здравоохранения. В рейтинге бессмысленных бюрократий английская, несомненно, войдет в первую десятку. Автор «Острия скальпеля» приводит тому немало примеров. Например, человек при жизни может пожертвовать почку сыну, но, если человек умер, его семья не может объявить его донором органов, так как, по правилам NHS, орган, пригодный для трансплантации, должен отправляться в национальный банк органов, хотя эта почка идеально подошла бы сыну (с. 76). Прижимистость бюрократии может стоить пациенту жизни. Уэстаби с горечью вспоминает случай, когда перед операцией он запросил компьютерную томографию, чтобы узнать расстояние между костью и сердцем паци-

ента, но хирургу сделали замечание, что он превышает стоимость операции, и только специальные комитеты могли дать разрешение на дополнительные расходы. В итоге хирургическая пила рассекла коронарную артерию, но добраться до места кровотечения оказалось невозможно, потому что того самого расстояния совсем не оказалось.

«Я с отвращением сбросил маску и перчатки. [...] Я попросил своего ассистента сделать то, что мне самому приходилось делать в ранние годы: поговорить с женой пациента. Я же в это время пошел в паб» (с. 17).

Уже по окончании карьеры, выступая перед школьниками, он так ответил на вопрос одной девочки, спросившей, сколько его пациентов умерло: «Я убил больше человек, чем среднестатистический солдат, но меньше, чем пилот бомбардировщика» (с. 12).

Российское и британское здравоохранение схожи своей одержимостью оптимизацией. В Великобритании она проходила в рамках программы «Безопасность и устойчивость» (впоследствии свернутой благодаря жесткой критике), из-за чего закрывались небольшие хирургические центры и, как пишет автор, в стране больше не осталось лучших учреждений по академической педиатрической хирургии, включая отделение детской кардиохирургии в Оксфорде, которое создал сам Уэстаби. В момент основания в 1948 году NHS была прогрессивным явлением, но сегодня это уже не так: чиновники от здравоохранения «зациклились на финансовой стороне и предпочитают сохранять деньги, а не жизни» (с. 268). Это сложный вопрос – не только экономический, но и этический. В одной из телепрограмм Би-би-си из серии «Ваша жизнь в их руках» (Уэстаби также был ее героем) обсуждался вопрос, должна ли NHS тратить кучу денег на спасение 20-летнего пациента-сердечника. Обсуждение откры-

ло другую перспективу: вправе ли страна «первого мира» сэкономить деньги и позволить пациенту умереть так, как если бы тот жил в стране «третьего мира»? И если передовая страна отказывается платить за неимущего пациента сумму, сопоставимую со стоимостью приличного автомобиля, не уравнивает ли это ее со страной «третьего мира»?

Английские хирурги ведут с администрацией больниц постоянную борьбу за койки. Если в реанимации нет свободных коек, то даже срочная операция будет отложена. За последние десять лет высокопоставленные чиновники, утверждающие, что Национальная служба здравоохранения финансируется лучше, чем когда-либо, сокращали тысячи больничных мест, сетует автор. Очевидно, управление потоком пациентов – узкое место в NHS. Четверть коек заняты людьми, которым незачем находиться в больничных палатах, но они нигде больше не могут получить помощь, и из-за этого не госпитализируют новых пациентов. Когда Уэстаби самому понадобилась медицинская помощь, никаких привилегий ему, спасшему тысячи жизней, не полагалось. Он пишет, что Национальную службу здравоохранения убил принцип «бесплатно для всех в пункте доставки», который сложно реализовать из-за старения населения, недостаточного финансирования и «медицинского туризма». Государственное здравоохранение стало в Англии непривлекательным для специалистов, поэтому в стране трудно найти детских кардиохирургов, и их приглашают из-за рубежа. Талантливые врачи эмигрируют, чтобы продолжать работать и внедрять новые технологии.

Автор книги анализирует свои отношения с NHS и эффективность государственной службы. Очевидно, что это его «больная мозоль», он регулярно возвращается к этой теме, так что можно подумать, что все свои блестящие операции он делал

вопреки системе. Но вот его горькое признание: в сегодняшней ситуации он не стал бы обучаться кардиохирургии, а стал бы юристом, чтобы «не стоять на задних лапках» перед медицинской бюрократией, требующей от врачей саморефлексии. «Сколько же времени я впустую потратил на операции, когда мог бы заниматься продуктивным самоанализом», – иронизирует Уэстаби. Сам Уэстаби прекратил оперировать в 68 лет, когда тело стало его подводить. Он, по его признанию, не испытывал сожаления по поводу своей отставки, потому что имелись новые планы: он занялся биоинженерной разработкой искусственного сердца, а также клиническими испытаниями генетически модифицированных стволовых клеток, которые устраняют рубцы на сердечной мышце, образовавшиеся из-за инфаркта.

Кроме естественных рисков, связанных с исходом сложных операций, хирург и его бригада подвержены и другим опасностям. Например, есть пациенты, которые предпочитают утаивать, что у них гепатит или ВИЧ, но во время операции врач или медсестра могут случайно уколоться зараженной иглой или кровь пациента может брызнуть им в глаза (таких случаев много). У некоторых врачей после этого развивается посттравматическое расстройство, разрушаются личные отношения и интимная жизнь.

«Каждый раз, когда я оперировал наркомана с инфицированными клапанами сердца, мои ассистенты, которые обычно работали с удовольствием, куда-то исчезали. У одних начиналась мигрень, другим нужно было к врачу» (с. 160).

Но Уэстаби, по его словам, не считал себя богом и не судил своих подопечных,

хотя за всю карьеру лишь один из его пациентов-наркоманов «завязал». Другой профессиональной опасностью для хирургов является... развод, особенно когда второй супруг не работает в сфере медицины. Известно, что продолжительность жизни хирургов ниже средней вследствие высокого уровня стресса, который они испытывают на работе. Их жизнь во многом им не принадлежит, и справиться с этим могут как раз те самые психопаты, способные абстрагироваться от страданий пациента на время работы.

В книге «Острые скальпеля» есть описание захватывающих операций, которых ждет читатель, но главное, пожалуй, в том, что там представлен очень любопытный, хотя и субъективный, анализ психических особенностей врача-кардиохирурга, а также его положения в национальной системе здравоохранения. И то и другое – фон, на котором развивается драма каждого пациента: сколько больных ушли из жизни, потому что им не хватило койко-места или потому что хирург провел скальпелем на полмиллиметра глубже, чем следовало...

Книга в целом хорошо переведена (перевод Олега Ляшенко), за некоторыми досадными исключениями, когда переводчику не хватило внутреннего слуха, а редактор недоглядел. Например, «мрачный жнец» (недопустимая здесь калька с английской идиомы Grim Reaper) – это все-таки «старуха с косой», «безносая» или просто смерть; нелепо звучащий «актовый день» – это школьное собрание, а «действовать против часовой стрелки» – это «в спешке», «в авральном порядке».

СЕРГЕЙ ГОГИН